

Глеб Иванович Успенский

# Бо́льшая совесть



**Глеб Иванович Успенский**  
**Больная совесть**  
Серия «Новые времена,  
новые заботы», книга 9

*Текст предоставлен правообладателем.*  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=664915](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=664915)

**Аннотация**

В очерке отразились впечатления, вызванные первой поездкой Успенского за границу в 1872 году. Успенский поехал за границу как корреспондент «Отечественных записок», для которых он собирался написать в результате поездки серию «Парижских записок». <...> В очерке отчетливо проявился реализм Успенского. Писатель сумел понять противоречивость капиталистического развития и в то же время остаться свободным от идеализации патриархальных пережитков, от свойственного народникам отрицания исторической прогрессивности капитализма по сравнению с крепостничеством.

# Содержание

I	4
II	15
III	25
IV	34
V	41
Примечания	46

# Глеб Иванович Успенский

## Больная совесть

### I

«Не советую вам встречаться за границею с русскими»... Когда я ехал прошлый год за границу, эту назидательную фразу мне пришлось слышать от многих соотечественников, уж бывавших там и, стало быть, имевших понятие о европейской жизни. Все причины, которые приводили мне в объяснение необходимости быть в стороне от соотечественников, решительно, по моему мнению, ничего не значили; говорили: «неприятно», «скучно», «да вот увидите сами...», словом, ни одной основательной причины на мой взгляд не было, и я уехал, совершенно забыв эти советы. И что же? Впоследствии, когда я поглядел на чужие нравы, и невольно должен был вспомнить этот совет, ибо я на самом себе испытал какую-то душевную боль, что-то саднящее, какую-то наваливающуюся на душу массу – боли, желчи, тоски... всякий раз, когда только «видел» русского, даже не разговаривая с ним ни слова, и уверен, что и моя особа, тоже русская, производила на другого соотечественника то же самое ощущение...

Определить это ощущение каким-нибудь одним веским

словом решительно невозможно; оно приобретает тогда только, когда длинный ряд чужеземных картин, даже самых непривлекательных, сделает с вами великое чудо: именно заставит вас выздороветь, если вы были больны; заставит вас успокоиться, если вы были обеспокоены, – словом, когда чужая сторона сделает на душе у вас хорошо... Теперь, сидя в глуши и опять заболевая понемногу какую-то мнимую болезнью, я с особенным удовольствием припоминаю этот процесс, по которому на душе становится хорошо.

Ни длина и дешевизна немецких бутербродов, ни чистота немецкой прислуги, ни роскошь и дешевизна извозчиков, у которых все по таксе (какая прелесть!), человеческое достоинство которых делает то, что они едут потише, когда их просят ехать пошибче, ни газовые рожки, ни вообще какие бы то ни было таксы, цены, и проч., и проч., – ничто подобное не будет предметом нижеследующих заметок: ни одною из этих прелестей я не посмею пленять читателя. Да не только не посмею пленять именно вещами подобного сорта, а просто нахожусь в полной невозможности пленять его хоть чем-нибудь, если только он хоть мало-мальски заинтересован в современных порядках и хочет, чтобы они хоть чуть-чуть были поновей. С этой точки зрения я по совести могу сказать, что там *все хуже* нашего, ибо там всему делу корень; с этой точки зрения я даже и говорить не могу ни о чем, кроме самых-самых неприятных вещей, но в конце концов – как бы ни было дурно то, что попадаетеся вам на глаза, – на душе

будет хорошо...

В самом деле, только переехали вы границу, только было стали облизываться от дешевизны бутербродов, – хват, стоит Берлин, с такой солдатчиной, о которой у нас не имеют «понятия» и которая заставляет вас сразу терять аппетит ко всем этим прелестным газовым рожкам, мостовым, «по таксе» и т. д. Палаша, шпоры, каски, усы, два пальца у козырька, под которым в тугом воротнике сидит самодовольная физиономия победителя, попадаются на каждом шагу, поминутно; тут отдают честь, здесь сменяют караул, там что-то выделывают ружьем, словно в помешательстве, а потом с гордым видом идут куда-то... В окне магазина – победитель в разных видах: пропарывает живот французу и потом, возвратившись на родину, обнимает свое семейство; бакенбарды у героев расчесаны совсем не в ту сторону, куда бы им следовало... У иных одно лицо сделано величиною в аршин (из мрамора, из металла), причем усы, как бычачьи рога, стремятся вас запороть, положить на месте. Насмотревшись на это, пойдите укрыться в портерную, но и там то же: сабли и палаша ездят по ногам, повсюду шевелятся усы, одни другим отдают честь, и все вместе вновь пришедшему... Но существеннейшая вещь – это полное *убеждение* в своем деле, в том, что бычачьи рога вместо усов есть красота почище красоты прекрасной Елены. Спросите любого из этих усов о его враге и полюбуйтесь, какой в нем сидит образцовый сознательный зверь. Проглотивши такую заграничную

картину, невольно думаешь: «нет, уж этого у нас нет!» И в темноте вагона припоминается наш солдатик Кудиныч, который, прослужив двадцать пять лет богу и государю, теперь доживает век в караулке на огороде, пугая воробьев... Он тоже весь изранен, избит, много дрался и имел врагов из разных наций, а поговорите-ка с ним, враг ли он им.

– А поляки? Как?

– Поляки тоже народ ничего, народ чистый...

– Добрый?

– Поляки народ, надо сказать, народ добрый, хороший...

Она, полька, ни за что тебя, например, не допустит в сапогах... например, заснуть ежели...

– Не допустит?

– Ни боже мой!.. ходи чисто! благородно!

– А черкесы? Ты дрался с черкесами?

– Эва! Мы черкеса перебили сметы нет! Довольно нам черкес известен; лучше этого народу, надо так сказать прямо, не сыщешь.

Все его враги – добрые люди, неизвестно зачем бунтуют... Всех он усмирил, и вот теперь сидит в караулке, тачает что-то, разговаривает с собачонкой и, вспоминая прошлое, говорит: «ох, грехи-грехи тяжкие!» Какое же сравнение: здесь доброта, – там свинство и зло.

Нет, у нас лучше.

Благодаря превосходно устроенным путям сообщения, не успели вы еще простыть от умилительного воспоминания о

Кудиныче, как чужая земля предъявляет вам новый сюжет для размышления. Поезд остановился на какой-то маленькой станции – кажется, в Бельгии: немецкие деревеньки с зеленью и беленькими домиками, выглядывающими из нее, давно прекратились; давно уже пошли каменные глыбы с боков дороги, горы (буквально) золы, облака дыму, тысячи труб, изрыгающих дым и пламя, и исчезли всякие следы деревни; видны только фабрики и казармы для рабочих, узенькие, низкие одноэтажные здания, с крошечными окнами, маленькими дверцами, обвешанные всякою рванью, просушивающеюся на солнце; людей стало почти не видно, они все где-то под землю, в огне и дыме... Изредка у дороги увидишь женщину-сторожа – она босиком, в рубище, изможденная и худая. Это, точно, Бельгия. Поезд останавливается ночью. Повсюду зарево пылающих горнов; вот вдали на какой-то широкой трубе, из которой вылетает белое пламя, толчется какой-то человек: черная скорченная фигурка его то подскочит к огню с каким-то шестом, то отскочит назад, очевидно от нестерпимого жару, и потом опять лезет туда... Слева, немного ниже насыпи железной дороги, расположилась фабрика, под прорванной и прогорелой железной крышей, держащейся на столбах; в огне и дыме, в тучах разлетающихся искр копошится масса рабочего народа, худого, оборванного, измученного; сколько тут детей, совершенно голых, без рубаш... вот один тщедушный мальчик, без рубашки, босиком, нагнувшись головой чуть не до земли и ухва-



тившись руками через плечо за конец длинной железной полосы, раскаленной почти до половины, тащит ее с видимым трудом, раздувая свои голые бока с отчетливо обозначившимися ребрами. Да, тут работают в поте лица, тут виден страх смерти, если только руки выпустят этот молот... Представляя себе хозяина этого ада кромешного, вы никак не сочтете его другом всех этих голых людей, – да, вы убеждаетесь, что выколотить из этого «хозяина» прибавку в копейку серебром можно только кровью, дракой, невыносимым взрывом ненависти... У нас нет ни такого дыму, ни такого огня, ни такой злобы рабочего и хозяина (говорят, будет), ни этой злости в работе... Хозяйский приказчик Куприянов, правда, ходит между рабочими и покрикивает: «поспевай, ребята, поспевай»; но потом присядет на обрубок дерева и скажет: «И история тоже, ребята, вчерашнего числа вышла со мной... Тут смеху было, боже мой... Иду это я... Федот! ты что это чешешься-то?.. Надо бы, купидончик, поспевать... Иду это я вчерась от кумы...» – и пошла история, от которой, глядишь, идет смех по всей фабрике... Под историю и «поспевать» легче. «Уж и плут только этот Куприянов, братцы, – разговаривают фабричные, – ну, одначе, человек, надо говорить прямо, – человек ничего...» Нет, у нас лучше!

Мы в Париже. Тут уж я не знаю, каким орудием таскать массы всяческого безобразия... но чтоб уж до конца в этих сопоставлениях мое отечество являлось в лучшем против *них* виде, приведу суды. У нас суд скорый и правый, а там

идет какой-то скорый и быстрый разбой, но не суд. Я говорю о версальском военном суде. Нижний этаж неряшливых солдатских казарм в Версали кое-как, на скорую руку, перегороден досками на маленькие клетушки, совершенно такого же изящества, как деревянные, на два дня устраиваемые по случаю сельской ярмарки, «выставки водок», – и в каждой такой клетушке заседает военный суд и печет приговоры десятками в минуту. Из-за этих перегородок (которые далеко не достигают до потолка) раздаются резкие, скорые, очевидно для проформы задаваемые вопросы, робкие ответы, преимущественно «нет», на которое не обращается никакого внимания... Посмотрите на эти лица, заседающие за красным столом, под запыленным маленьким распятием из кости над их головами, – эта такая коллекция удавов, какой, пожалуй, и в Берлине скоро не подберешь. Стоит взглянуть на этих судей, чтобы понять, что подсудимый – тщедушный мастерской, совершенно напоминающий нашего отечественного портного, работающего «перешивку на дому», – что этот испуганный человек с трясущимися пальцами рук, протянутых по швам (я такого именно и видел), что он вовсе даже и не подсудимый, а прямо «попался» в волчью яму. В две-три минуты допросили десять свидетелей, которые все показали, что он вполне невинен, что он не мог не держать в руках ружья, когда ему его навязывали под страхом смерти... Словом, дело такого рода, что у нас бы непременно его оправдали, и денег еще собрали бы. А тут – нет: проку-

пор, стуча кулаком, прямо объявляет, что ош знать не хочет ничего, кроме того, что подсудимый взят с оружием. Повернув, по французскому уменью говорить, эту фразу на разные лады раз двадцать, он умолкает в большом негодовании; за прокурором встает защитник, очень изящный молодой человек в военной форме. «Ну, – думаете вы, – вот тема-то разойтись...» Ничуть не бывало. Защитник с крайним сожалением объявляет, что вина преступника так несомненна, что ему остается только просить о снисхождении: он знает, что есть милосердие; – и затем совершенно спокойно садится без малейшего стыда и жалости. Не виноватый ни в чем человек был приговорен к пяти годам работ в крепостях, – Семейство разорено, и вся жизнь целого семейства пошла к чорту... Несомненно, что у нас в России никто ничего подобного не видал.

Но довольно примеров. Один мой соотечественник из простонародных, попросту русский мещанин, волею божией попавший в Париж и проживающий здесь около пятидесяти лет, – соотечественник, о котором будет сказано обстоятельно ниже, – говорил мне за верное, что здесь во Франции, особливо в Париже, «все порядки приведены в большую огромность». В доказательство того, что это правда, он весьма оригинально указал мне на статуи великих людей, расставленные по площадям европейских городов и Парижа в особенности... «Это отечество, – говорит он, – ставит тому, кто ему делал добро, устанавливал порядки... Почему у

них у всякого в руках либо палка, либо сабля, либо дубина? Потому, «не бить – добра не быть», бабушка говорила... У иного просто бумага в руках, а тоже ровно треснуть хочет... А потому – на пользу; от этого-то здесь и чистота... Одному только Нэю<sup>1</sup> на Сан-Мишель поставили монумент за измену...» При таком прочном насаждении порядков можно бы было здесь представить читателю великое множество таких цветов этих порядков, которых у нас не только нет, но дай бог, чтобы и не было их; но теперь покуда довольно будет рассказать окончание последнего примера с судом, чтобы можно было видеть, отчего даже такие мерзости, как этот суд и другие, мною вышеуказанные, поучительны и чем именно они не мерзки...

Окончание истории с судом было таково: после того как по обыкновению именем французского народа был произнесен приговор (подсудимого в это время нет в зале суда), публика, находившаяся в камере, вышла на двор, заставленный пустыми пушечными станками, и обступила растерянную жену несчастного. Публики этой было очень немного: два-три свидетеля, в том числе две женщины, семинарист-иезуит с толстомясым лицом и флегматически сложенными назади руками да два-три иностранца. Женщины ахали, советовали что-то, жена подсудимого плакала, прочие стояли и смотрели.

---

<sup>1</sup> *Нэй* – Ней Мишель (1769–1815) – наполеоновский маршал, изменивший Наполеону I, а затем во время «Ста дней» снова перешедший на его сторону. Памятник Нею был поставлен Наполеоном III.

рели. В это время по случаю перерыва заседания прокурор и защитник да, кажется, кто-то и из судей неправедных вышли на крыльцо курить и болтать... Зная наши отечественные добрые нравы, я подумал: «А вот сейчас эти прокуроры и судьи подойдут к несчастной и станут соболезновать ее горю... ну, хоть из приличия...» Мне потому пришло в голову, что у меня есть множество приятелей прокуроров, которые именно так поступают; эти мои приятели, они вовсе, например, не злы на мужика, который вырубил дерево и которого нужно засадить в острог; *в сущности* они душевно жалеют этого мужика, они научились любить народ, и если иной раз упекут в Сибирь, то это по обязанности, а *сами лично* они даже жалеют, дают деньги... Один из моих приятелей был даже так огорчен каким-то делом в этом роде, что мало того, что дал упеченному денег, а даже... подал прошение о переводе в другой город... Когда мне все это пришло в голову, я того и ждал, что эти звери теперь, когда заседание прервано, вдруг сделаются не-зверьми (как мои приятели) и покажут нам свои лучшие светлые стороны... «Вот сейчас», – думал я. Но они стояли и курили, заложив руки в карманы своих красных панталон. «Да что же это такое? – стало приходить мне в голову. – Неужели они даже и в перерывах заседания остаются такими же зверьми?..» Мне показалось, что на нашу группу они смотрят не с сожалением, а с каким-то веселым сарказмом в глазах... «Да неужели же они считают себя правыми?» – думал я в недоумении. И, чтобы удостоверить-

ся, сделал даже некоторое неприличие – попросил у одного из них закурить (хотя простонародный соотечественник и внушил уже мне, что французские порядки требуют, чтобы спички держать свои). Мне хотелось послушать, что такое они болтают; я нарочно возился с сигарой, склеивая ее, перевертывал другим концом, чтобы протянуть время. И что же? Один из них ругательски ругал коммунаров, а другой предложил на будущее время просто «сбривать им головы с плеч», и, сколько я мог заметить, сказал это с подлинною ненавистью... Тогда я убедился, что они действительно злы и делают так, а не иначе, именно потому, что злы.

## II

Таким образом и версальский несправедливый судья, и берлинский зверь, и все, кто в вышеприведенных заметках являлся дураком ли, хорошим ли, – все они делают только то, к чему влекут их личные нравственные требования. Неправедный версальский судья, убивая в коммунаре ненавистную ему идею, делает это потому, что, допустив идею врага, он должен отказаться от своей, которою он живет и которую он *считает справедливою*... Зверовидный берлинец потому так охотно исповедует религию пропарывания кишок ближнего, что вследствие множества мельчайших причин, о которых можете прочитать в книжках, эта религия составляет идею его личной жизни; она ему нужна за кружкой пива, за трубкой. С своей точки зрения он может представить тысячи по его голове совершенно логических доводов, которые его совершенно оправдывают. На своем знамени в данную минуту он может написать такое словечко, которое ему дороже жизни. Вам, постороннему наблюдателю, он может показаться сумасшедшим, но он лично совершенно прав, честен перед своею совестью, живет... Ощути он за своей трубкой, за своей пивной кружкой потребность не пропарывать кишок – и на знамени надо будет писать другое слово, а старым, пожалуй, не стащишь его с места. Заберись коммунарская идея в голову, в сердце, словом, в будничные обиход версальского

неправедного судии – и, пожалуй, не он будет убивать, а его. Негодуйте, сочувствуйте – как скажет ваша совесть. Что же делает мой приятель Петров? В зале суда он упекает крестьянина Андропова за порубку дубков, в перерывах заседания сочувствует ему и дает деньги, а дома является демагогом... Что тут правда, что тут настоящее? где тут результат, кроме того, что крестьянин Андронов отправляется в острог и благодарит прокурора за пожертвование: «дай тебе бог»? Что тут живого, по совести считаемого нужным?.. Я знаю одно, что версальский жидомор чувствует себя хорошо, а Петров скучает и хочет исцелиться, подав прошение о переводе... Да и мне, помню, с этим Петровым было необыкновенно скучно.

Где больше правды, в иностранном ли фабриканте, согнувшем рабочего в дугу, или в другом моем приятеле, недавно умершем от скуки и от чахотки, помещике Федосееве, на винокуренном заводе которого распоряжается известный уже читателю Куприянов?.. Фабрикант прямо смотрит на свою фабрику как на учреждение, которое должно дать ему деньги на жизнь, слагающуюся из потребностей весьма определенных, удовлетворение которых ему необходимо и которые он, по свойственному всем чужестранцам крайнему эгоизму, считает выше всего на свете. Он – свинья (если так да позволено мне будет благосклонным читателем выразиться), но он лично полагает, что поступает справедливо, стараясь получить из рук голого рабочего больше, а не



меньше. С господином же Федосеевым происходили следующие обстоятельства: он был, во-первых, человек «добрейший, честнейший и благороднейший»; винокуренный завод он открыл, сам не зная как («решительно не понимаю, – говорил он, – как могло мне прийти в голову»!), и, как утверждал он при жизни, видеть его равнодушно не мог... Когда доходили до него слухи, что Куприянов обсчитывает и грабит, с ним делались истерики, и он иной раз сам раздавал обсчитанным рабочим деньги – по пяти, по три рубля... Каждый год он собирался закрыть завод, но не закрывал, совершенно не зная, как это случилось... Завод между тем, управляемый Куприяновым, шел кое-как, приносил кой-какой доход, который барин принимал «с омерзением» (собственное его выражение) и собственно лишь для того, чтобы поехать в Петербург послушать хорошей музыки и вообще отдохнуть от всей этой слякоти. Спрашивается теперь, что в нем, в господине Федосееве, я, посторонний человек, могу считать действительным и живым: тонкое ли понимание собственно музыки, демократические ли его идеи или идеи фабрикантские? Я полагаю, что ни на один из этих вопросов ответить невозможно утвердительно. «Жду смерти, как избавления, как манны», – сказал он мне однажды и действительно умер с большим удовольствием... И действительно на душе у него должно было происходить бог знает что. А рабочий? Согнутый головой к земле, иностранный рабочий знает, кто его согнул; несчастный, он живет злостью, которая

рано ли, поздно ли разогнет его!.. Положение же Андрона, работающего на фабрике Федосеева, совершенно неопределенное. После того как Куприянов обсчитал Андрона, а барин дал ему пять целковых, Андрон пьянствовал две недели, похваливая господ, и пропился до того, что жена Андрона сама пришла к Куприянову и просила его образумить пьяного дурака. И действительно, Андрон крайне нуждался в какой-нибудь доктрине. Очнувшись, он решительно не мог понять, он ли, Андрон, виноват, Куприянов ли виноват, или барин... Но когда оказалось, что, напротив, барин ему сделал благодеяние, то мысли его до того перепутались, что он чувствовал себя дурак дураком и, говоря по совести, был в душе очень благодарен Куприянову, когда тот его образумил. Куприянов, во-первых, дал ему хорошую пощечину, потом повторил ее раза три-четыре и оштрафовал за все прогульные дни. «Дурак я был», – думал Андрон, принимаясь за дело.

Кудиныч старый воин и добрая душа! Я часто посещаю Кудиныча (он у нас караульщиком на огороде), веду с ним разговоры и решительно жалею его... Что за существование?.. Он обыкновенно сидит в своей караулке, что-нибудь тачает, или штопает, или жует свою печеную картошку, кровью выслуженную на войне, приговаривая всякий раз: «господь напитал – никто не видал, а кто видел – не обидел...» Это – человек, который сам действительно мухи не обидит. А сколько он обидел на своем веку народу, и все народу, по его мнению, доброго, хорошего!.. «Много мы их тогда пере-

били... народ все чистый, ладный народ, ничего!» – скажет он иной раз, заговорив о войне и о своих подвигах; но, отделившись от них, он почти не интересуется ими и толкует о них редко. Отдыхая теперь на спокойе, он живет сам по себе – и вот, послушав раз-другой его разговоры с мальчишками, я вполне убедился, что «сам по себе» он совсем другой человек... Посмотрим, что его интересует, какими небылицами набита его голова.

– И горит, братец ты мой, – рассказывает он босоногому мальчишке, – этот самый гац без фитиля и без лучины... И как бы ты думал, откуда он идет, этот гац? – вопрошает он удивленного слушателя и, долго помолчав, почти с ужасом произносит: – Из собаки! да! Из дохлой, из падали из собачей!.. Наберут дохлятины, сейчас ее в особое место, – в варку, – ну а из варки она уж и выфыркнвает полымем... Значит, этот дух... например, жар... стало быть, эта сволочь самая...

Или рассказывает о том, что близ Ярославля один дьякон откопал мешок с тараканами; они лежали в земле тысячу лет – и живы!.. Дьякон будто бы тотчас же явился с этим мешком в собор и подал его архиерею на самом амвоне, за что вышла из Петербурга награда. Он верит, что в Киеве существует мост на двадцать верст длины, вылитый целиком из железа, что если зайцу отстрелить хвост и зарядить этим хвостом ружье, то ружье будет стрелять без промаху.

Удивление его всем этим чудесам, в которых одна «пре-

мудрость», ничуть не меньше удивления его деревенских слушателей ребят; да, он ребенок – добрый, тихий, религиозный (в молодости он намеревался поступить даже в монахи)... Но все эти личные его качества – теперь на возрасте десятилетнего ребенка. Почему же им не суждено было развиваться? Почему в видах высшей пользы они должны были замениться совершенно другими качествами... и притом какими?.. Я часто пытался разузнать, какая сила таскала его по черкесам и по венгерцам, и признаюсь, кроме слов «там, брат, не разговаривают», я почти ничего не слышал, объясняющего дело. Один только раз, как мне показалось, он произнес магические слова своего знамени. Это была солдатская песня такого содержания:

Мы с героем – дети славы

.....

Есть у нас своя семейка

Невеличка и добра.

С нею жизнь для нас копейка —

Сухарь, чарка и ура!<sup>2</sup>

Но когда я захотел потолковать с ним насчет этой песни, то оказалось, что он в ней понимает очень мало и сердится, так что разговор пресекся на первом слове. Прежде всего он произнес не «с героем дети славы», а с «хероим». Когда я спросил: что это значит? он насупился и отвечал уже – «хе-

---

<sup>2</sup> Мы с героем – дети славы... – солдатская песня.

руфь»; на вопрос, что означает это слово, он еще более надулся и забурчал:

– Как что значит? Вас учили в училищах?

– Учили...

– Так вы сами, кажется, должны понимать, что и чем и как...

– Ей-ей, не понимаю...

– А видали в церквах...

– То хоругвь...

– Ну да. Я и говорю про то... Чего ж вам тут все не месту? Мы люди неученые... Небось, вас терли, терли мочалкой-то в науках...

Старик, очевидно, сердился, и разговор наш пресекался, так что, по тщательном размышлении, знаменем всей его жизни должно было признать любимую его поговорку:

– Ох грехи, грехи тяжкие!..

Нет, берлинский зверь не скажет: «грехи, грехи!» А Кудиныч покорный вздыхает!

Таким образом, если счесть содержимое этих параллелей, окажется, что личная совесть любого из вышеупомянутых соотечественников как будто ровнешенько ничего не значит в великих делах, им совершаемых; она не развивает своих сил, не имея возможности питать их, и нормы ее в высшей степени неопределенные, а велики или малы силы этой совести – сказать утвердительно тоже невозможно. Там, напротив, все дело в крайне малом – в эгоизме, и притом самом

злейшем, – эгоизме каждой единицы, каждого сверчка, который за свой шесток (худ ли, хорош ли он, судить не мое дело) постоит крепко. Для нас этого очень мало; но ведь эта малость делала явления, которые считают великими...

Здесь мне припоминается следующее обстоятельство.

В праздник троицы я вместе с известным уже читателю престонародным соотечественником моим отправился в церковь Парижской богоматери. Служба шла о всею торжественностью: служил парижский архиепископ, гремел орган, гудели виолончели и т. д. Но церковь мы нашли совершенно пустой; кроме небольшой кучки народу да иностранцев, шатавшихся вокруг пустых стульев и рассматривавших расписные цветные стекла, – хоть шаром покати. «Ослабела вера», – заметил мой соотечественник. И что ж? при самом выходе из церкви мы натолкнулись на следующую сцену. Солдат под хмельком, с сигарой в зубах и под руку с подругой, болтая смеясь, расспрашивал сторожа, пускают ли теперь посмотреть церковь? Он так с сигарой и в кепи пошел было в самый храм... Он – извольте видеть – идет «смотреть» церковь. Если бы мне пришлось видеть побольше фактов хотя такого рода, я бы мог заключить, что действительно ослабла вера, что ухо отвыкло понимать эти виолончели и хоры дискантов; но если мне будут попадаться факты вроде того, который я сию минуту приведу ниже, то я не знаю, в какой мере прочны и уверенны могут быть мои умозаключения. Года два тому назад ехал я по Волге из города С. На палубе по-

пался купец-раскольник, которого я только что перед этим видел в том же С. во время публичных диспутов в С-ском соборе, разрешенных местным начальством. Диспут происходил между разными раскольничьими сектами и православным духовенством. Не трудно представить, что споры могли держаться на самых схоластических темах, на словах, никому не нужных уже, потерявших смысл и внутреннее содержание. Словом, кроме схоластиков-диспутантов, слушатели почти все скучали, сохраняя вид дела (черта наша). Здесь-то я встретил и купца, который тоже стоял и как будто внимал разглагольствию. Теперь мы с ним встретились опять на палубе и заговорили. Тут же на полу под одеялами, совершенно как дома, на перине лежала жена раскольника, окруженная собственной своей чайной посудой. Она слушала наши разговоры. Мы толковали о диспуте. Все, что я ни говорил, купец все подтверждал и со всем был совершенно согласен. «Ведь просто скучно», – говорил я. «Не приведи бог! – говорил купец. – Что ни слово скажут, меньше как четырехсот лет тому слову нет от роду! Заведут-заведут канитель, – упаси господи...» – «Разве дело в этих пустяках, о которых спорят», – говорил я, например, – и купец отвечал: «вестимо, уж какое тут дело», и т. д. Словом, он соглашался со всем и даже, соглашаясь, непременно приводил свой довод, более высокий, в пользу моего мнения. Эти разговоры и дорога подружили нас. «Пойдемте пить чай?» – сказал я. Купец начал мяться и поглядывать на жену и, наконец, заговорил,

улыбаясь: «Так-то бы так, чайку отчего бы... да...» Оказалось, что нельзя пить из чужой посуды. «Да ведь, по совести, ведь глупость это». – «Оно так, действительно не с большого ума... ну, как-то так уж...» Помолчав и подумав, он прибавил: «Али уж мне тебя чаем напоить?» – «Ну напои!» – сказал я... «Напоить-то тебя я бы вот как напоил, да опять же нельзя тебя к нашей посуде допустить...» Словом, он знал отлично, что все это вздор и глупость, все понимал и со всем был согласен и все-таки делал что-то. Так как напиться чаю вместе нам оказалось невозможным, то купец со вздохом лег к жене под одеяло и закрыл глаза – будто бы спит, а я ушел. Чему тут верить? Что тут действительно нужно человеку и что не нужно, умерло? Ни на один из этих вопросов утвердительно ответить невозможно. Только скучно.

Если с этими вопросами подойти к любому из современных явлений русской жизни и, спустившись до отдельного лица, делающего это явление, встретить в этом лице вовсе не то, что он делает (чему я приводил примеры), если убедиться к тому же, что лицо это может делать как угодно, ни в чем лично не нуждаясь и будучи на все готовым, то легко поймется томительная тоска, свирепствующая всюду, равно как и то, что причина этой тоски – не свободная, в грош не ставящаяся совесть.



### III

Имея намерение со временем рассказать кое-что из мира этой больной совести, ненужной личной жизни, я должен прежде всего указать на два типа, которые припоминаются мне теперь и личная жизнь которых, словно в укор мне, совершенно свободна и чиста.

Это, во-первых, тип, руководствующийся тем, что «всё бог», и совершенно спокойно живущий среди всевозможной сумятицы. Образец такого типа мне совершенно случайно пришлось встретить за границей, именно в Париже, – я говорю о моем простонародном соотечественнике, русском мещанине N. В двадцатых годах, когда этому соотечественнику было от роду не более девятнадцати-двадцати лет, какой-то русский купец, желая завести иностранную торговлю, завез его в Париж, но промотался и умер. Соотечественник остался в чужом городе и с тех пор живет там до настоящего времени. Профессия его – показывать русским Париж; он знает, кому какой памятник, где платок Наполеона, в который тот не успел высморкаться, сколько миллионов стоит дворец и т. д. Во время выставки он очень успевал во мнении московского купечества; если умрет в Париже русский, простонародный соотечественник непременно явится его обмывать, укладывать в гроб, читает псалтырь; кроме того, он постоянно служит сторожем при одном русском учреждении в Па-

риже и благодаря этому, то есть тому, что учреждение это считается собственником, владельцем, в качестве представителя от этого владельца служил в национальной гвардии в течение всех крупных событий последних лет. Чего только, стало быть, ни видал и ни перенес этот честный человек, прекрасный семьянин. (Он женат на француженке и имеет уже взрослых детей, которые все пристроены к месту.) И вот под влиянием этих соображений я вступил с ним однажды в разговор; результатом этого разговора было то, что теория, основанием которой «всё бог», уяснилась мне весьма обстоятельно, ибо находилась в этом человеке в самом чистом виде. Удаленный из России довольно рано, молодым парнем, он не успел пропитаться более глубокими философскими взглядами, которыми живет и дышит, например, купец, получивший медаль, а за границей не мог по натуре усвоить чуждых взглядов, – осталось «всё бог» в самом чистом виде.

– Да как же не бог-то? – говорит он... – Зачем бы мне это надо в Париж из Курска – скажите, сделайте милость? А уж стало быть, что так богу угодно было... Или теперь: у меня есть медаль за спасение погибавших, при Луи-Филиппе<sup>3</sup> получил я... А по совести говорить, разве я знаю, могу, например, объяснить, как это я спас?.. Вы видите, какой я (он намекает на свой рост; росту он небольшого): как же я мог справиться с верзилой с этаким... да что! с двумя! Ви-

---

<sup>3</sup> *Луи-Филипп* – французский король (1830–1848) из династии Орлеанов, ставленник финансистов и крупной буржуазии.

дите, как было. Шел я поздно ночью через Елисейские Поля (тогда этого великолепия не было, темень). А разбойничьего народу – страсть сколько было... Иду так-то, слышу, в кустах кричит будто кто-то... Ровно мне ущемило за сердце, как брошусь – ке фет ву ля (так и так по-русски), хватъ одного верзилу за шиворот, другой убежал, ну кричать: стражу! Сбежались, и тогда только я увидал, что они человека душили... Лежит человек без чувств... Я даже сам удивился... Поглядел на верзилу, обомлел даже – этакая махина, упаси господи! Потом в суд призвали свидетелем. «Узнаете, – говорит председатель, – этого господина (которого я спас-то)?» – «Нет-с, ваше превосходительство, не узнаю...» – «Да вы его спасли!» Тут он мне такую речь сказал, расхвалил меня: «Вы благородны, честны... у вас добрая душа – человеколюбие... Что вы хотите, деньги или медаль?» – «Ничего, говорю, ваше превосходительство, я не хочу – потому я тут ни при чем, и как тогда это случилось, не знаю... Ежели бы, говорю, теперича, вот сейчас при мне этакой верзила стал бы душить человека – ни во веки веков бы я не бросился спасать – мне, говорю, самому жизнь дорога... Стало быть, уж богу так угодно было...»

Помолчав немного и понюхав табаку, седой старичок этот, как бы в раздумье, прибавил:

– В Сену тоже бросился раз – человек тонул, вытащил... А дай мне сейчас тыщу франков – «окунись, мол» – так и трех не возьму, да и миллионов мне не надо... Стало быть,

бог все... Или опять женился я – я из Курска, она из Бретани – судите теперича: чье это, как не божие, дело?

– Вы по любви женились?

– Как же мне это помнить? Этому сколько лет-то! У меня сын, милостивый государь, сорока лет, коммивояжер, мне об этом помнить нельзя было... я бился всю жизнь, всех воспитал...

– А не было скучно вам за границей?..

– Как не было скучно? Скучал... До женитьбы совершенно даже скучал; ну, а пошли дети – какая тут скука?.. Вся тут скука и окончилась... Разве мало хлопот-то? Тут норовишь для семейства; ан хватить – переворот какой-нибудь затеяли: бери ружье, стой!.. Уж как они меня, черти-французы, при Луи-Филиппе рассердили, так это забыть не могу!.. Внучка лежит больна, жена больна, а ты стой с ружьем. – Думаю, ах, чтоб вам пусто было! Что вас нелегкая поднимает?.. «Что вы, говорю, господа, всё беспокоите себя? Может быть, другим семействам от этого худо бывает... У меня вон все семейство хворает, а вы тут революцию затеваете...» Уж тогда я бесился на них шибко... Да что! бешеный народ... Ему все мало! Какого императора спихнули, безумные!..

– Какого?

– А Наполиона! Ка-к-кой император!.. Да и Луи-Филипп? Чего им еще надо?.. Вы знаете, почем была всякая провизия при Луи-то Филиппе или хоть при Наполионе?.. Спросите, мол, почем, например, стоил лук, овощ, мясо, – и что теперь?

«Републик, републик», а поди-ка приценись, во что вогна-ли картошку?.. да!.. Нет, я так думаю, они и бога застреляют, попадись только во время! Ее-ей... Кто им худо делает? са-ми себе...

– А немцы?

– Да что ж немцы?.. Немцы-немцы! ругают, кричат все, а немцы во время осады сами нам пропитание доставили. Помню, сын у меня захворал, а купить нигде нет. Прошу Христом-богом хоть капусты кочан, за что хочешь – нету ни-чего, нигде... А немцы дали; целый воз дозволили пропу-стить в город. И очень хорошо бы было некоторым семей-ствам, ежели бы как следует рассортировать, а они что же? Французы-то? Налетели на воз с капустой, растрепали все, расхватали по листочку, никому ничего... Немцы всей ду-шой хотели...

– Да! – заключил мой соотечественник... – Эти переворо-ты мне въехали довольно!.. Как зачуеть, что «что-нибудь» начинается...

– А как вы это узнаете?

– Как узнаешь? Чуеть!.. То же все как будто, а понюха-ешь кругом – и нет, что-то есть... Порохом пахнет, народ начинает беситься... Ведь народ этот ничего, только с беси-ной... Словно как найдет на него что... Уж я этого довольно нагледелся, теперь уж, брат, меня не оставишь без провизии, как при Луи-Филиппе или при Шарле-дис<sup>4</sup>... Как, говорю,

---

<sup>4</sup> Шарль-дис – Карл X, французский король (1824–1830), младший брат Людо-

зачуешь – сию же минуту капустки, репки, огурчиков – всего припасу, пали! шут с тобой!

Так он откровенничает только с соотечественником – с французами же держит себя «по-ихнему», притворяется развязным, поддакивает – словом, представляет барина. Иной раз, желая вдуматься хорошенько в тамошние порядки, посмотреть на них не с точки зрения больной внучки и дороговизны картошки, он попробует высказать что-то, но на втором же слове остановится, махнет рукой и скажет:

– Огромность это все... По крайности, слава богу, жив-здоров, и за то слава тебе господи!

Вот каков мой простонародный парижский соотечественник. Сколько есть таких соотечественников, но еще больше есть другого сорта типов, которые живут, повидимому, тоже во имя «всё бог», с тою только разницею, что формула эта переиначивается в такую: «бог не выдаст, свинья не съест». Здесь под именем свиньи подразумевается весь род людской, среди которого живешь и с которым приходится делать дела. Парижский соотечественник – зверок тихий, смирный, волокущий в свое гнездышко по щепочке, по перышку, «что бог дает»; тогда как тип последнего сорта обязан вырвать у свиней то, что ему потребуется. Знал я на своем веку одну бабу-крестьянку. Она пришла в Петербург из Пинегы, потому что в Пинеге стало нечего есть. Это была грубая черномазая

---

виков XVI и XVIII, до вступления на трон носил титул графа д'Артуа. Крайний реакционер, свергнутый Июльской революцией 1830 года.

женщина высокого роста. В Петербурге она отъелась скоро, и так как «есть» – до сего времени составляло все, что ее держало на белом свете, то житье ей стало в Питере плохое. Она жила у немки в меблированных комнатах, била посуду, ибо что такое посуда и зачем? Спала как мертвая и огрызалась, когда ее будили. Не могла упомнить фамилии того или другого жильца, не могла выучиться узнавать, который час. В церковь она никогда не ходила, потому что это ей было не нужно. Словом, это было создание, способное покуда только есть. За разгильдяйство ее колотили жестоко, но это ей было нипочем: она даже улыбалась, видя, как немка дует на руку, онемевшую от удара по каменному плечу Марьи. Иной раз она вдруг заскучает, сидит, плачет.

– Что с тобой? – спросят ее.

– Хлеб у нас, пожалуй, хорош уродился...

– Ну так что же?

– Девки замуж идут...

Но вот в жизни ее случился переворот, именуемый любовью, хотя здесь это слово неуместно. Прислуга меблированных комнат утащила ее однажды на иллюминацию, а с иллюминации Марья возвратилась уже утром, и дня через два ее нельзя было узнать. В этом она сходна с парижским соотечественником, у которого скука прекратилась, как только пошли дети. Марья, почувствовав, что она будет мать, тоже как будто сразу скинула с себя лень и дурь и принялась обеими руками тянуть кусок из пасти свиньи, то есть всех, кто

ей ни попадался. И фамилии жильцов она узнала, и знала, что у кого есть, и часы вдруг стала узнавать, и узнала, кто добр, кто зол из жильцов... «Теперь еще четвертый час, – стала она шептать, – господин Федоров приходят в пятом», – и она смело входит к г-ну Федорову в номер; запустила руку в сахарницу, взяла сахару, отсыпала чаю; галстук валяется – и галстук взяла, спрятала... Или вот другой господин, «простой», подгулял с приятелями – и уж Марья тут; как, оказывается, тонко понимает она этого «простого» господина! «Сестра четвертый месяц в больнице... сумасшедшая... маленькая девочка у ней осталась, пить-есть нечего... Что на себе было, отдала...» – жалобно причитает она. И барин все вынимает мелочь, все вынимает... «А кум ей голову прошиб, да еще говорит: убью...» А барин все вынимает, и Марья примечает, где водится у барина эта мелочь, и когда барин спит, обыщет этот карман. Она стала изворотлива, как кошка; куда она прятала что тащила – никто никогда не находил. Отец будущего ребенка попробовал было ее разыскать и повидаться, но так как и он из числа свиней, которым надо не дать возможности съесть, то через десять минут и у него куда-то делся платок, в одном уголке которого был завязан рубль. С тех пор этот человек и глаз не показывал, что, конечно, еще более укрепило Марию в том, что «все свиньи». И вот она стала родить, – тащить с правого и виноватого, перешивать и одевать ребят... Как она обращается с детьми? Любит, бьет и пичкает всем, что попало под руку, что нашлось



«у господ». Когда отвозят ребенка в деревню, она плачет и потом удваивает свою хищническую деятельность... Да, здоровый, настоящий человек и Марья, – а страшноато. Ну а затем начинается великое море болезней и печалей ненормально живущего духа!

## IV

После трехмесячного шатанья в чужой стороне, преимущественно в Париже, в один вечер, вместо того чтобы по обыкновению идти куда-нибудь и что-нибудь видеть, мне захотелось в первый раз остаться дома, ибо в первый раз я почувствовал, что «пора собираться домой»... Чужим в этой чужой жизни я чувствовал себя давно, постоянно: в театре, на улице, в танцующей на общественном балу толпе, – словом, везде ощущалась полная невозможность быть так, как они, не притворившись... А что уже притворяться! Мне захотелось уехать, и не потому, чтобы мне надоела «правда», о которой я только что говорил и которая живет во всем, что видишь, и делает живым все, что держится ею; я почувствовал потребность уехать именно из боязни утратить это хорошее впечатление правды явлений, так как самые явления, «ягодки» существующего на белом свете порядка – иной раз весьма непривлекательные – здесь и подавно непривлекательны, потому что они «настоящие»... Настоящее стремление верить только в копейку; настоящий разврат, настоящая безысходная бедность и другие продукты современных порядков без особенного труда бросаются здесь в глаза на каждом шагу. «Кроме Наполеона четвертого – никто не бу-

дет!<sup>5</sup> – говорит знакомый мне сапожник (извините, что примеры всё простонародные) и показывает на пальцах четыре. – Вот! больше никого». – «А такой-то принц?» Сапожник молча черкает пальцем по горлу. «А этот?» Сапожник повторяет тот же жест снимания с плеч головы... «Да почему же именно Наполеон?» – «Потому что при Наполеоне я имел пять тысяч франков дохода...» – «Больше ничего?» – «Чего вы хотите? Больше ничего (показывает опять четыре пальца). Вот! – и больше никто!» А вот другой простолюдин, попросту мужик заграничный (опять извините!), он живет одиннадцать лет в Париже и – поверит ли кто? – не знает, где Нотр-Дам, Булонский лес<sup>6</sup>... он даже не разбирает, что будет – республика ли или империя: ему бы только получать аккуратно, что ему следует, аккуратно класть в банк и лелеять мечту о собственном отеле в провинции, чтобы получать и класть. Кроме лестницы с номерами по бокам, откуда он получает франки, кроме метлы, щетки, сапог, тазов и рукомольников, он не знает ничего – и совершенно весел на этой лестнице. Жестами решает он все вопросы, посторонние копейке. – Что такое любовь? – Жест простой и ясный. – Что такое женщина? – Опять жест, и т. д. Он так верит, что, кроме копейки, все остальное вздор, так спокоен за свою фило-

---

<sup>5</sup> *Кроме Наполеона четвертого – никто не будет!* – Реакционная бонапартистская клика провозгласила в 1874 году претендентом на престол сына Наполеона III под именем Наполеона IV.

<sup>6</sup> *Булонский лес* – парк в западной части Парижа, традиционное место гуляний аристократической и буржуазной публики.

софию, что на его довольное и веселое лицо завидно смотреть. А настоящий, основательный, до последнего слова, до последней точки доведенный разврат и неразлучный с ним разлагающий «запах» денег, золота, запах, которого я никогда не ощущал, например, на Невском... А бедность, которая тут же, в двух шагах от залитых золотом бульваров и кафе, – бедность, которая угрюмо «терпит» свою долю, словно в насмешку обставленную какими-то якобы удобствами... Бедность эта терпит какой-то якобы обед в кафе, освещенном газом, пьет какое-то якобы вино, такого же самого цвета и названия, что и у президента республики; будто бы весело проводит вечера, часы отдыха на пятикопеечных балах, танцуя с своими дамами, которые будто бы одеты совершенно прилично, хоть иной раз при хорошем взмахе юбки кверху оказывается, что, кроме ботинок да того, что надето сверху, – все остальное в отсутствии. Сколько нужно этому бедняку иметь умения притворяться, что он не замечает, как его якобы подруга того и гляди уйдет за золотом каких-то пьяных франтов, явившихся на пятикопеечном балу с целью охоты на «дичь» женского пола. Как мало этой дичи, однако! Все обстрелено и видало виды, все чувствует большой аппетит к чужому золоту... Да, цветов и ягод современного порядка много, и любоваться ими долгое время решительно невозможно, вот почему я и почувствовал, что пора собираться домой, и, не откладывая дела в долгий ящик, собрался чуть ли не на следующий день и уехал... Много хо-

рошего и дурного видел я в чужом городе и равно благодарен ему как за то, так и за другое, да, даже и за другое, потому что если я человек, действительно любящий человека, то, видя перед собою «настоящее» положение дела, я могу еще более укрепить мою любовь, верить, что она нужна... И, кроме того, что значат эти бесчисленные следы пуль<sup>7</sup>, которыми прострелены зеркальные стекла, исцарапаны фасады дворцов, церквей, изборождены монументы, арки?.. Глядя на эти бесчисленные белые кружки с темным ободком дыма кругом, невольно представляешь себе, что в этих улицах и переулках находилась какая-то беснующаяся, сумасшедшая толпа, которая хотела, повидимому, разбросать, спихнуть, разрушить все, что есть кругом. Чем виноваты, например, эти каменные триумфальные ворота, на которых изображены аллегорические фигуры царей, голых воинов, игрушечного вида и задора лошади, колесницы и т. д. Чем виноваты эти ничтожные воротцы? А между тем они сплошь, сверху донизу, исцелканы пулями, отбившими носы у древних царей, хвосты у лошадей и т. д. Очевидно, что здесь бился и метался какой-то обезумевший человек, и этот-то человек – тот самый, который задохнулся от крепкого букета вышеупомянутых цветов... Тут, в толпе этих сумасшедших, вышедших из терпения, был, наверное, и лакей, которому надоела метла и лестница, тут и камелия, которая могла бы и хотела

---

<sup>7</sup> ...бесчисленные следы пуль – от кровавой борьбы на улицах Парижа в 1871 году, при жестоком подавлении правительством Тьера Парижской Коммуны.

быть матерью, сестрой, женой и которая зла на порядки, не давшие ей ни того, ни другого, ни третьего... Тут был, наверно, и бедняк, которому надоели якобы обеды, якобы жены, якобы семья и который мстил за невозможность иметь это в настоящем виде и смысле, мстил как сумасшедший, ломая и разрушая все, что ни попадется под руку...

Глядя на эти пули, невольно думаешь и убеждаешься, что всему этому, пораженному старыми порядками, вконец ими испорченному народу жить так дальше нельзя, что ему не только скучно так, как скучно вам, постороннему зрителю, – а просто нельзя, невозможно дольше жить, и, веря в правду явления, вы надеетесь, что действительно *так* продолжаться дольше не может... Уезжая, я думал, что все будет лучше, правдивей, умней... Как же не благодарить за это чужую сторону!.. С этим хорошим ощущением я возвращаюсь назад и дня через два снова вижу Петербург...

В тот же вечер в беседе с приятелями я слышу и от соотечественника моего тоже, что «так жить нельзя». Картину он нарисовал при этом раздирающую; материалу для того, чтобы нарисовать картину раздирающую, у приятеля были полны руки. Но потом как-то так вышло, что в тот же вечер тот же самый приятель мой нарисовал и другую картину, умильную, с блестящим будущим, ибо и для этой картины материалу тоже у него оказалось в руках довольно много. И обе картины были как будто справедливы... И вот, с легкой руки этого приятеля – пошли мне встречаться коммуна-

ры с возможностью довольствоваться и философией копейки серебром, пошли ретрограды, думающие в глубине души, что им бы следовало быть либералами, и либералы, которые, быть может, в сущности и не либералы... Потянулось, словом, что-то вроде ни да ни нет, ни два ни полтора, ни тпру ни ну...

Стало мне скучно.

Поехал я в деревню к приятелю. Здесь, правда, есть кое-что «настоящее», поучиться кое-чему можно, но и сюда уже проникает нравственное «ни да ни нет»... Встретил я здесь пьяного мужика, возвращавшегося с бабой из соседнего села. Баба не давала ему денег на водку; он пристал ко мне и, чтобы угодить, прочитал мне апостол (очень искусно) собственного сочинения, смотря в ладони, как в книгу, – но такого содержания, что баба ушла прочь, плюнув и обругав мужа «безбожником» и проклятым. И действительно, мужик был безбожник, если только чтение (которого я привести не могу) – собственное его изобретение... Ему все трын-трава до такой степени, что я долгое время не мог опомниться и не замечал, что он уже давно ждет «награды». «Станови, что ли, – говорил мужик. – Али не уважил? Хошь пива... Ей-ей, последние ноне отдал попу, нечем охмелиться...» – «Зачем попу?» – «Да ведь надо молитву дать этому щенку (у бабы был на руках ребенок) – али нет? Кажется, мы хрещеные... Поставь, барин!.. будет тебе!.. Я тебе еще такую ли скажу!..»

Пожил я в деревне, показалось мне, что будто бы я за-

болел, – и вот поехал я будто бы лечиться на одни русские минеральные воды. Здесь в первый же день за общим обедом в гостинице попался бравый мужчина с нафабранными по-военному усами и баками и как-то невзначай проболтался о том, что он послан на минеральные воды одним отделением одной канцелярии<sup>8</sup> для... «изучения народного быта»... Потом, после обеда, я собственными ушами слышал, как этот господин, желая изгладить не совсем удовлетворительное впечатление, произведенное на умы публики) этим известием, отвел в угол одного молодого человека и, держа его за пуговицу, говорил: «Согласитесь сами, что ежели бы это было и так, то есть ежели бы ваше предположение было справедливо, – согласитесь, что гораздо лучше, если это гнусное (и по-моему совершенно справедливо!) дело будет находиться в руках честного человека... Согласитесь, что это так». Но молодой человек, повидимому, не высказывал согласия, по всей вероятности полагая, что гораздо бы было лучше, если бы гнусным занимался гнусный, а честный брался только за честное... «В сущности, – пояснил бравый мужчина, – я сам глубоко презираю ту печальную необходимость... но...» и т. д.

Стал я лечиться, а факты из области «ни да ни нет» всё не прекращались...

---

<sup>8</sup> ...одним отделением одной канцелярии. – Подразумевается «III отделение собственной его величества канцелярии», то есть жандармское управление.



## V

Из ближайшего уездного города приехал тоже лечиться на воды один монах из благородных; он вел себя солидно, носил окладистую бороду и уединялся от публики с книгой, когда в саду играла музыка. Через два или три месяца он должен был постричься окончательно. (Прислуга его называла «неокончательный» монах.) Нам пришлось жить в одной гостинице; номера наши были рядом, и потому будущий иеромонах часто заходил ко мне. Разговор шел о духовных предметах; монах рассказывал процесс будущего пострижения, довольно подробно и обстоятельно, мешая его с такими взглядами и мнениями, которые среди духовных разговоров звучали как-то странно... «Не могу жаловаться, – говорил он между прочим, – я пошел довольно хорошо по духовной части... В военной мне не повезло...» – «Вы были в военной?» – «Как же! я два с половиной года служил офицером в – ском пехотном полку принца Карла... Сами знаете, что за жизнь армейскому офицеру... Вознаграждения – грош... а... да, наконец, если бы была протекция... тогда другое дело... я бы, конечно, может быть, и не пошел бы... Но теперь по духовной части у меня есть рука довольно сильная... Настоятель меня любит... кружечный сбор доходит до... все готовое... и, наконец, мне давно хотелось уединения...» Уж и из этих объяснений можно было видеть, в какой мере прочны основа-

ния, на которых зиждуются взгляды отца Виктора насчет разных частей, «духовной», «военной» и т. д. Но это еще цветочки... Прямо из окна моего номера видна была лачуга с вывескою портного и с модными картинками, прилепленными к заплесневелым окнам; бывая у меня, отец Виктор часто посматривал на эту вывеску и часто спрашивал: «Какой-токой это Иван Купидонов, военный, статский и дамский?.. Уж не наш ли это дворовый? У нас был один Иван Купидонов и учился в губернском городе портновскому делу». Оказалось, что этот Купидонов – именно тот самый. Прослышав стороной, что тут близко находится барчук – монах из военных, бывший дворовый явился повидаться. Свидание происходило у меня в комнате. Иван Купидонов, уже пять лет занимающийся своим делом «от себя», успел принять человеческий образ и с большими усилиями делал «рабское лицо» пред бариним. Барин все-таки остался доволен. Когда оба они вспомнили прошлое, пожаловались на настоящее, вздохнули по нескольку раз – дворовый стал жалеть и печалиться о барине. «Эх, Виктор Сергеевич, – говорил он, покачивая головой с сделанным рабским лицом, – охота вам было в монахи... То ли бы дело, ежели бы вы были попрежнему... танцы всякие... всё бы себе дозволить могли...» – «Будет, – оказал барин, вздохнув, – натанцевался». – «И без вас есть кому стоять на молитве... А уж костюм бы я вам уготовил – Шармер<sup>9</sup>! ей-ей! Померяйте, вот сюртучок... (У портного

---

<sup>9</sup> Шармер – модная портновская фирма в Петербурге.

был подмышкой узелок.) Чего вы опасаетесь? Кажется, сукно что на рясе, что в сюртуке один дар божий». – «Так-то так...» – «Так что ж! Гляньте, померяйте-ка». Отец Виктор помолчал и с улыбкой пошел примеривать сюртук. Просто так, примерить только. Я ушел куда-то. Вечером, часов в одиннадцать, ко мне входит Виктор, но уже обстриженный и в статском платье...

– Видите, – сразу начал он, – так как пострижения еще не было, то по уставам не возбраняется... по крайней мере ничего определенного нет... Если бы я шел по сбору, например, – прибавил он, – я имел бы право заходить в трактиры, в кабаки... Отчего же теперь я не могу быть в воксале, на концерте, на танцевальном вечере?.. Как вы думаете? Недурно сидит?

Сидело недурно.

– Я заказал белый жилет... ведь носят же жилет под рясой; отчего ж их не носить открыто... По крайней мере честно!

За жилетом пошло бритье бороды (на что было взято, однако, докторское свидетельство), нафабривание усов, натягивание перчаток, подыскивание места на железной дороге, не упуская в то же время мысли и о пострижении... Если место выходило, то Виктор Сергеевич говорил: «Хотя я люблю уединение, но уединяться можно и не надевая клобука, не загораживая себя каменными стенами... Бог везде... Да, наконец, велик ли наш кружечный сбор?» и т. д. Если же надежды на место ослабевали – то речь шла примерно та-

кая: «Да почему же вы думаете, что и в монастыре нельзя быть полезным обществу? Лучше же буду я, чем какой-нибудь отставной солдат, постригающийся исключительно ради даровых хлебов и толкующий бедному народу, что сам своими глазами видел дьявола. Во всяком случае я-то уже не скажу этого... Кроме того, предполагаются постройки, и, наверно, будет поручено мне...» Словом, без особенного труда, без особенного соображения по-русски воспитанный ум его мог являться совершенно готовым на всяк час. Он мне показывал письма разгневанных на его поведение родственников и настоятеля. Какое разнообразие взглядов, убеждений! «Ну, что ты мог бы получить на железной дороге, о которой бес вложил тебе в ум? – писал ему настоятель. – много, много, ежели ты получишь триста рублей, но заметь – на своих харчах!.. Дьявол настолько ослепил твой ум, что ты как бы совсем забыл о дороговизне жизненных припасов, тогда как, идя по духовной части, ты получишь помимо кружечного сбора...» и т. д. «Враг рода человеческого (писала ему родственница), которому, без сомнения, принадлежат все содеянные тобою свинства, настолько опутал тебя, что ты уж не в состоянии ясно видеть, что карьера твоя должна ограничиться заботою о душе, молитвою, ибо князь Сергей Андреич, как тебе должно быть хорошо известно, умер два года за границей, а без него, ты очень хорошо знаешь, тебе нет протекции ни в армию, ни в штатскую службу... Молись и проси у бога прощения, зная, что на железных дорогах все

места заняты и нигде тебе не дадут ничего...» — Да что же это такое? — воскликнул я, когда однажды почему-то вдруг припомнилось мне все виденное за последнее время. — Где же тут, во всем этом, в этих неокончательных монахах, изучателях народного быта, безбожниках, и проч., и проч., — где тут правда, совесть, могущая в искренности, чистоте и силе потягаться с совестью, например, вышеупомянутого лакея, то слепо верящего в копейку, то слепо идущего завоевать дружную веру, когда копейки мало.

# Примечания

Впервые напечатано в «Отечественных записках», 1873, № 2 и № 4, в качестве начала непродолженной впоследствии серии «Очерки, рассказы, наблюдения и другого рода отрывки из одних записок».

В очерке отразились впечатления, вызванные первой поездкой Успенского за границу в 1872 году. Успенский поехал за границу как корреспондент «Отечественных записок», для которых он собирался написать в результате поездки серию «Парижских записок». Эта серия, однако, не была осуществлена.

Свои заграничные впечатления Успенский изложил в ряде писем к жене от апреля – июня 1872 года. В этих письмах намечены, а иногда и развернуты более широко те же картины западноевропейской жизни, что и в настоящем очерке, в котором Успенский подвел итоги своим раздумьям, вызванным поездкой.

Успенский выехал за границу вскоре после окончания франко-прусской войны и разгрома Парижской Коммуны. В Германии он наблюдал разгул торжествующей военщины после провозглашения германской империи, в Бельгии – нищету рабочих каменноугольных районов, в Париже писатель оказался свидетелем чудовищной расправы победившей буржуазии над участниками Коммуны и французскими

рабочими. Все эти впечатления дали писателю материал для той параллели между западноевропейской буржуазной действительностью и русской жизнью пореформенной поры, которая составляет основную тему очерка.

На Западе Успенский увидел большую, чем в России, обнаженность классовых противоречий, ясное сознание рабочим классом и буржуазией противоположности своих классовых интересов. В России классовые противоречия в 70-х годах еще не выступали с такой же ясностью, как на Западе, в условиях победившего и упрочившегося капитализма. В то время как европейский рабочий эпохи Парижской Коммуны, по выражению писателя, уже знал, «кто его согнул», и это заставляло буржуазию в борьбе с пролетариатом открыто защищать свое классовое господство, в России народ еще не обладал ясным сознанием причин своего порабощения и путей выхода из него, а господствующие классы прикрывали свою хищническую практику «общечеловеческими» фразами. Противоречивость русской общественной жизни породила то моральное состояние, характерное для различных слоев русского общества, и прежде всего для интеллигенции, которое писатель назвал «больной совестью», – ощущение несправедливости существующего порядка вещей, приводившее, однако, лишь к болезненному самоанализу, к внутреннему разладу и колебаниям, а не к действиям, освещенным сознательной передовой мыслью.

В очерке отчетливо проявился реализм Успенского. Пи-

сатель сумел понять противоречивость капиталистического развития и в то же время остаться свободным от идеализации патриархальных пережитков, от свойственного народникам отрицания исторической прогрессивности капитализма по сравнению с крепостничеством.

Мысли, изложенные в «Больной совести», получили дальнейшее развитие в печатающихся в настоящем томе очерках «Из памятной книжки» (1875) и «Заграничный дневник провинциала» (1876). Во всех этих очерках о западноевропейской жизни Успенский во многом предвосхитил направление той революционно-демократической критики экономического строя и политической жизни буржуазных стран Запада, которую через несколько лет после Успенского дал Щедрин в очерках «За рубежом» (1881). Однако Щедрин сумел гораздо более трезво, чем Успенский, описать и те явления, которые сближали западноевропейскую и русскую действительность и свидетельствовали о повороте России после реформы на капиталистический путь развития.